

Змея, которая ужалила Олега

Горбачёв сыграл решающую роль в истории распада Советского Союза — редко бывает, чтобы роль одного человека была столь велика. Но не менее важным фактором оказались те силы и процессы, которые вырвались наружу помимо его воли | **ДЭВИД РЕМНИК**

Едва ли это моя личная особенность, но события прошлого, которые хранятся в моей памяти, обычно принимают форму рассказа. Это касается моих воспоминаний о событиях августа 1991 года, или о рождении моих детей, или о разговоре с Бобом Диланом (по моим подсчетам, он продолжался четыре минуты и семнадцать секунд). Склонность упорядочивать мысленные образы с помощью связного повествования пришлось весьма кстати, поскольку истории — в той или иной форме — стали моей профессией: я передаю их в виде репортажей, описываю в статьях и книгах, редактирую, составляю из них разнообразные сборники и, если понадобится, отстаиваю в судебных разбирательствах. В стремительно сжимающемся мире американской журналистики мерилом являются именно «истории» (уж точно не деньги!): какое-нибудь особенно циничное высказывание неназванного сотрудника Белого дома может стать «историей дня»; журналистское расследование злоупотреблений в инвестиционном банке — это всегда «громкая история»; а революция, особенно такая, в ходе которой действительно рушатся стены и меняются флаги, это уже «великая история». Режиссер Джордж Стивенс явно находился под обаянием этого журналистского жаргона, когда назвал свою эпопею об Иисусе Христе «Величайшей

из всех историй на свете». С этим трудно спорить. Рождество — великая история. И Благовещение. Автоматом на первую полосу. Прошу прощения: самый верх домашней страницы и *огромная* активность в Твиттере.

И только тогда, когда в возрасте двадцати девяти лет я приехал в Москву в качестве корреспондента газеты «Вашингтон пост», я понял, что истории, как шляпы, имеют национальный характер и что англо-американская манера — лишь один из способов их рассказывать. Приведу две истории, которые помогли мне в этом убедиться.

Я приехал в Москву в начале 1988 года. Мой первый большой репортаж был о том, что КПСС реабилитировала Николая Бухарина. Со стороны Кремля это был четкий сигнал: страна всерьез возвращается к политике десталинизации 1950-х годов, а гласность отныне распространяется на сферу советской истории и истории КПСС (ведь на то и гласность, чтобы все могли рассказывать правду — журналисты, писатели, историки и ученые). В том же году, на волне расширения гласности, журналистам, после нескольких дней колебаний, разрешили отправиться в Армению, чтобы рассказать о страшном землетрясении, унесшем жизни десятков тысяч людей. Из Еревана мы отправились на север, в Спитак, город с населением около пятнадцати тысяч человек, расположенный рядом с

эпицентром землетрясения. Мало кто из его жителей уцелел.

Мой опыт иностранного корреспондента был невелик, но репортером я успел поработать довольно долго и хорошо знал, что нужно делать. Я огляделся, стараясь запомнить чудовищное зрелище: повсюду валялись трупы, их было так много, что даже пересчитать было невозможно; до основания разрушенные дома и школы; собаки-спасатели, снующие по бетонным развалинам и обнюхивающие их в поисках признаков жизни. Потом я стал интервьюировать людей, стремясь как можно точнее записать их слова и не наделать ошибок в именах. По ходу работы я заметил, что мой французский коллега ничего не записывает, не делает вообще никаких пометок. На нем были какие-то особенные, дорогие очки. Он почти ни с кем не разговаривал. Он присматривался, вглядывался в окружающую суматоху, вдыхал зловонный воздух и, казалось ... *размышлял*. «Что вы делаете?» — спросил я его. «*Я буду делать анализ*», — ответил он, произнося английские слова на французский манер. Анализ! — видимо, не случайно Декарт возник именно на французской почве.

Годом позже Москву облетела новость об очередном странном происшествии, случившемся с Борисом Николаевичем Ельциным, — вся его жизнь была сплошным чрезвычайным происшествием. Шел сентябрь 1989 года. На счету Ельцина немало поистине героических моментов, но это был случай другого рода. В один прекрасный вечер он подошел к посту охраны в Успенском, дачном поселке для партийного начальства. К удивлению охранников, Ельцин был весь мокрый и сжимал в руке мятый букет цветов. Он сказал, что шел в гости, но к нему неожиданно подошли четверо мужчин (он предположил, что это были сотрудники КГБ), надели ему на голову мешок и столкнули его в реку. Когда охран-

ник Ельцина, грозный Александр Коржаков, наконец явился за своим подопечным, он обнаружил его сидящим возле батареи в одном нижнем белье и посиневшим от холода, «словно его облили чернилами». Новость быстро разлетелась по Москве. Для консервативного ядра КПСС это стало еще одним примером недостойного, филигрского поведения Ельцина, а для либералов — свидетельством того, что партия и КГБ готовы пойти на все, что угодно, ради его устранения.

Но что делать репортеру? Успенское в то время было для иностранных корреспондентов запретной зоной. Опознать нас не составляло труда: мало того, что мы ездили на иномарках — на наших номерных знаках красовалась особая литера «К» (за американскими корреспондентами было закреплено обозначение «K004»). И тогда вместе с одним итальянским коллегой мы отправились в Успенское на «Ладе» без номеров. Прямо как в кино. Мы были страшно довольны собой, приключение щекотало нервы, но в действительности опасность была равна нулю. Если бы мы попробовали проделать такой же финт в эпоху Гаррисона Солсбери или в совсем недавнее время, когда в Москве работал Николас Данилофф¹, нас бы наверняка задержали и выслали из страны. Но теперь все было по-другому. Как только мы добрались до берега реки, я поступил по-американски: начал опрашивать всех потенциальных свидетелей — грузных женщин, стиравших простыни, стоя по колено в мутной воде, водителей, куривших возле своих автомобилей в ожидании хозяев, местных милиционеров, вполголоса переговаривавшихся на скамейке. Между тем мой коллега, безупречный римлянин в льняном костюме, вышел на берег и стоял там, скрестив руки на груди (но подальше от грязи, чтобы не запачкать свои элегантные мягкие туфли). Он рассматривал пасторальный пейзаж, где случилось скандальное происшествие.

Я услышал, как он глубоко вздохнул — увиденное явно доставляло ему удовольствие. «Чем ты занимаешься? — спросил я его. — Ни одно-го интервью? Ты ничего не записываешь?». — «Да нет, — сказал он. — Но из этого выйдет пре-кра-а-асный репортаж».

Историография vs. журналистика

Несмотря на разные стереотипы поведения, по крайней мере, внутри моего племени существует общее понимание: наиболее ярко отпечатывается в памяти то, что роднит репортаж с рассказом. Это черты характера и личностные особенности; законченный эпизод; конфликт; описания; удивительные совпадения; выстроенное изложение — или, наоборот, увлекательная беспорядочность сюжета. Именно поэтому Плутарха, мастера биографического очерка, можно считать асом журналистики, так же как Геродота и Фукидида — даже если мы не можем поручиться за абсолютную точность их сообщений о персах и греках. Яркие детали и сочный язык — вот причина того, почему пьесы Шекспира не устаревают и продолжают нас завораживать; а честные хроники Холиншеда, которые часто служили Шекспиру исторической основой, никто не читает.

Профессиональное историописание — дело долгое. Историк должен устанавливать закономерности и тенденции, систематически и терпеливо перебирать бесконечные архивные документы, забытые мемуары, досье, стенограммы, записи трансляций и публичных выступлений, не говоря уже о сегодняшних электронных письмах, сообщениях в Твиттере и других вербальных проявлениях современного человека. Каждое десятилетие порождает новых исследователей и новые версии, очередные толстые тома и свою «историю, написанную из сегодняшнего дня». Возникают различия в акцентах и идеологии, появляются новые факты, свидетельства и концепции; к картине про-

шлого постоянно добавляются новые черты, притом что само оно отодвигается от нас все дальше. К примеру, продолжают выходить новые биографии Сталина, но ни одна из них не является «исчерпывающей», что бы там ни писали взхлеб рецензенты: ни один из авторов жизнеописания Сталина не может претендовать на окончательность суждения — ни Борис Суварин, ни Исаак Дойчер, ни Антонов-Овсеенко или Рой Медведев, ни Такер, ни Улам, ни Джилас, ни Волкогонов. В настоящее время Стивен Коткин, историк из Принстонского университета, занялся исследованиями и подготовкой к написанию еще одной биографии Сталина. В одной из своих предыдущих книг Коткин блестяще описал Магнитогорск как архетип «сталинской цивилизации»²; можно предположить, что он воспользуется не только уже написанными биографиями и знаниями, которые накопили его предшественники, но и архивными документами, которые стали доступны (иногда лишь на очень короткое время) в постсоветской Москве. Нам снова предстоит узнать что-то новое.

Все сказанное — не более чем способ признать очевидное: московские корреспонденты эпохи Горбачёва и Ельцина могли внести лишь весьма скромный вклад в понимание того, как и почему рухнул Советский Союз и вся коммунистическая идеология. С точки зрения историографа, даже самая лучшая журналистика — дело скороспелое и легковесное. Она, как было верно сформулировано, лишь первый набросок исторического описания, и не более того. Ни на что другое она и не может претендовать. При этом я не хочу сказать, что газетные, журнальные, радио- и телерепортажи, которые шли в то время из Москвы, не отличались высоким качеством. Вовсе нет. Например, мой друг, шеф московского корпункта «Вашингтон пост» Майкл Доббс несомненно является одним из лучших иностранных корреспон-

дентов своего времени. Билл Келлер, московский корреспондент «Нью-Йорк таймс», еще в начале 1987 года понял, что Советский Союз теперь можно будет освещать более или менее обычным образом, а не как некое загадочное пространство, растянувшееся на одиннадцать часовых поясов. Благодаря этому пониманию, Келлер смог написать огромное число превосходных репортажей, удостоился Пулитцеровской премии и в конце концов стал главным редактором «Нью-Йорк таймс». В Москве работали и многие другие, энергичные, умные и успешные журналисты, — хотя часть изданий, в которых они тогда работали, с тех пор закрыли свои московские корпункты или, хуже того, вообще перестали существовать.

Иностранные корреспонденты в горбачёвской России

Конечно, в нашей деятельности было немало ограничений. Когда я работал в Москве, для освещения событий на пространстве от Калининграда до Владивостока у «Вашингтон пост» было ровно два корреспондента — при том что повсюду непрерывно происходили бурные события, по масштабу и последствиям не уступавшие 1917 году. Даже в графстве Принс-Джордж³ у нашей газеты было куда больше корреспондентов. В московском корпункте «Нью-Йорк таймс» работали три, иногда четыре журналиста, и это при том, что в газетном мире «Таймс» пользуется славой издания, вбирающего в себя весь цвет журналистской профессии. У большинства газет в московских бюро было всего по одному человеку. Тем не менее наша профессиональная жизнь казалась нам неслыханным раздольем. В своей работе мы не встречали практически никаких препятствий — разве что постоянно не хватало времени и наши собственные возможности были не безграничны.

В сталинскую эпоху великий Гаррисон Солсбери из «Нью-Йорк таймс» должен был

приносить свои отпечатанные на машинке депеши на Центральный телеграф, но прежде чем отправить текст — телеграфом или телексом, Солсбери был обязан представить его злобному цензору. Цензор выкидывал все, что ему не нравилось, и уже в таком, обрезанном виде репортажи отправлялись в Нью-Йорк. А у нас в корпункте был свой собственный телекс производства ГДР, размером с орган, только вдвое громче. (У нас уже даже были примитивные ноутбуки, в которые мы медленно вводили свои тексты.) Ленту телекса с текстом нужно было зарядить в телексный аппарат, но осторожно и с особым вниманием, словно делая операцию на сердце, — одно неверное движение, и лента, словно тончайшая артерия, могла обрваться, и тогда всю процедуру отправки текста, всю эту карусель, занимавшую не меньше часа, приходилось начинать сначала.

Министерство иностранных дел ограничивало наше передвижение, но хотя оставалось довольно много мест, куда нам запрещалось ездить — их список менялся в соответствии с политической ситуацией, — нашим главным противником было все-таки время, а еще невозможность быть сразу повсюду и писать обо всем, заслуживающим внимания.

Горбачёв и гласность радикально изменили жизнь и иностранных, и местных журналистов. И мы почувствовали разницу. У всех московских корреспондентов моего времени стояли на полках книги их предшественников, прежде всего — два произведения 1970-х годов: «Русские» Хедрика Смита из «Нью-Йорк таймс» и «Россия» Роберта Кайзера из «Вашингтон пост». Эти книги различны в смысле акцентов и качества письма (книгу Кайзера отличает стремительность и изящество стиля), но тем не менее они поразительно схожи. Даже непосвященному видно, что оба автора пользовались достаточно узким кругом источников, в число которых входили диссиденты, полудиссиденты, партийные

чиновники среднего звена и партийные журналисты, которым разрешалось общаться с иностранными коллегами. Поэтому в обеих книгах непропорционально много места отведено таким людям, как Лев Копелев и Раиса Орлова, диссидентам, объяснявшим иностранцам смысл происходящего в СССР. Кроме того, и Смит и Кайзер лишь в редких случаях могли выбраться за пределы Москвы и Ленинграда, да и тогда за ними строго присматривали. В результате в книгах, написанных этими талантливыми журналистами, нередко совпадают точки зрения, конкретные истории и в целом картина советской жизни.

Гласность не только произвела революцию в советском книгоиздании, науке, прессе, истории, политической риторике и искусстве, — она революционным образом изменила возможности журналистики. Дело не просто в том, что теперь мы могли писать и транслировать что хотели. Еще важнее, что благодаря гласности россияне — а также украинцы, жители Балтийских республик и Центральной Азии — могли беспрепятственно разговаривать с журналистами, не опасаясь неприятных последствий. Вдруг оказалось, что московский корреспондент может выйти за пределы известного списка источников в диапазоне от Роя Медведева до Александра Бовина и задавать вопросы кому угодно. Естественно, московские чиновники и интеллектуалы первыми уловили сигнал, что теперь можно общаться с иностранными корреспондентами, вроде Доббса или Келлера, и тебе за это ничего не будет. Уже к 1989 году люди моей профессии могли практически свободно освещать ранее запретные темы, такие как голод и детская смертность в Узбекистане. В конце 1980-х я редко слышал, чтобы кто-либо из моих источников жаловался на проблемы с властями. И хотя где-то в архивах КГБ, возможно, хранятся записи наших разговоров с женой за завтраком, ска-

жем, 4 апреля 1989-го (моя жена Эстер Файн была московским корреспондентом «Нью-Йорк таймс»), я никогда не ощущал на себе гнета прежних порядков — постоянной слежки или чего похуже. К тому времени прослушка, еженедельные обязательные встречи сотрудников УПДК с КГБ — все это воспринималось уже как атавизм, не более того. Может быть, это наивность с моей стороны, но оруэлловский мир слежки и расправ, знакомый Солсбери, Смиту и Кайзеру, не говоря уже о самих советских людях, ко мне уже не имел отношения. После чернобыльской катастрофы и землетрясения в Армении Горбачёв постепенно убеждался, что привычка к цензуре и самообману обходится очень недешево; к тому же она была обречена — как и сама империя.

История и «истории»

Банальная нехватка времени и характер повседневной репортерской работы ограничивали наши возможности, но не только потому, что нам приходилось освещать огромное количество текущих новостей, которые, впрочем, в тот момент были крайне важны (они неукоснительно начинались словами «Сегодня советский лидер Михаил Горбачёв заявил...»). В результате у нас оставалось совсем мало времени на то, чтобы вдуматься в глубинные причины происходящего. Нельзя сказать, чтобы мы вовсе не видели никаких закономерностей. Нам было очевидно банкротство советской экономики и опустошение казны, а также то, что у режима уже не хватает сил сохранять контроль над коммунистическими лидерами в Восточной Европе, Африке, Азии и Латинской Америке и что возможности советского руководства зависят от колебаний нефтяных и газовых цен. Мы не заблуждались относительно уровня цинизма и разложения партийной номенклатуры и отдавали себе отчет в том, что идеология ленинизма уже давно утратила

притягательность; что националистические настроения нарастают не только в бурлящих странах Балтии, но и во Львове, Ташкенте и Алма-Ате. Мы писали обо всех этих тенденциях, но, разумеется, в наших публикациях и близко не было той глубины, которая требуется от историков.

Вот почему и мои репортажи для «Вашингтон пост», и книга *Lenin's Tomb* («Мавзолей Ленина»), которую я писал в течение года после распада Советского Союза, — это конкретные «истории» с началом и концом, характерные, как мне казалось, для разворачивавшейся тогда геополитической и человеческой драмы. Такой увиделась мне история семьи Литвиновых, в которой дед при Сталине был министром иностранных дел, отец был полудиссидентом, а сын Павел стал настоящим диссидентом-шестидесятником, отсидевшим срок в лагере. Или история деревенского мальчика по фамилии Горбачёв, наделенного актерским обаянием, который приехал в Москву, полный честолюбивых замыслов, попал под крыло руководителя КГБ, а затем разрушил все то, чему служил и чему был научен поклоняться. Или история великого физика Андрея Сахарова, который плакал в день похорон Сталина, участвовал в создании водородной бомбы, а потом стал воплощением инакомыслия и моральной стойкости — и в эпоху Брежнева, и позднее, на самом пике перестройки, после того, как Горбачёв освободил его из ссылки. Или советский генерал Волгогонов, который стал честным историком и воспользовался своими заслугами перед советской властью для того, чтобы получить доступ к секретным архивам. А сага о Нине Андреевой! Чем не волшебная (но правдивая!) сказка, ярко обозначившая ангелов и демонов из Ореховой комнаты Кремля, тайного логовища Политбюро? Если у моей книги есть какое-то достоинство, так это то, что в ней собрано

множество таких историй. Опереточный августовский путч и события последних месяцев 1991 года, которые окончились распадом империи, обеспечили моей истории логическую завершенность, драматический конец — с фейерверками, ощущением триумфа и открывающихся перспектив.

История — это басни, анекдоты, отдельные личности?

Зимой 1846 года Лев Толстой сказал своему другу Валериану Назарьеву: «История — это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игора, змея, которая ужалила Олега, — что это, как не сказки?»

Поздними вечерами в бюро «Вашингтон пост» мы с Майклом Доббсом постоянно говорили об этом — о том, что история — это все-таки не басни, не анекдоты и не отдельные личности, пусть даже такие масштабные, как Горбачёв и Ельцин. В пространственных рассуждениях на эту тему в «Войне и мире» Толстой отвергает историческую важность Наполеона и Александра I и других бесчисленных персонажей, которых он описал с такой восхитительной точностью. Но как пронизательно заметил Исайя Берлин в своем произведении «Еж и лиса», в этом романе Толстой вступает в противоречие с самим собой: художник не соглашается с теоретиком истории.

В ночных спорах с Майклом в нашем корпункте на Кутузовском проспекте я настаивал на том, что Горбачёв сыграл решающую роль в истории распада Советского Союза — редко бывает, чтобы роль одного человека была столь велика. Горбачёв стал главной движущей силой этих событий, но дело было не только в его намерениях и политической игре. Не менее важным фактором оказались те силы и процессы, которые вырвались наружу помимо его воли, а также его отчаян-

ная борьба с Ельциным, эта невиданная грандиозная драма противоборства «инь» и «ян». С тех пор я перечитал множество убедительных книг о глубоких исторических процессах, назревавших задолго до 1985 года, но и сегодня никто меня не убедит, что если бы в свое время Политбюро и ЦК КПСС избрали не Горбачёва, а Виктора Гришина, то в рождественскую ночь 1991-го над Кремлем все равно развеялся бы бело-сине-красный флаг. Точно так же важнейшими элементами этого крутого исторического поворота были лихая удача Ельцина, стойкость, проявленная им в конфликте с руководством КПСС еще в 1987 году, а затем — четыре года спустя — политическое вдохновение, которое вело его, когда, взобравшись на танк, он восторжествовал над путчистами. Внимание журналистов было приковано к Горбачёву и Ельцину, именно им, а не тогдашним историческим и экономическим тенденциям, были посвящены наиболее острые материалы и глубокий анализ, потому что, в конце концов, именно для таких задач и существует журналистика.

Но, конечно, возникшая тогда иллюзия завершения истории оказалась глубоким заблуждением. Август 1991 года создал ошибочное представление о некоем конце, но в действительности у истории нет конца. А если что-то и заканчивается, то ненадолго. За свою жизнь я наговорил много глупостей. Но, несомненно, самым глупым было легко-

мысленное замечание — надеюсь, я просто хотел пошутить, — обращенное к моим премникам в нашем московском бюро: «Все. Эта история закончилась». Чеченские войны, возвышение олигархов, события октября 1993 года, в конечном итоге приход Путина и путинизма, не говоря уже об огромной череде событий в четырнадцати других новых государствах, не оставили и следа от моей тогдашней самонадеянности. Столь легкомысленное суждение, даже если на самом деле это было сказано в шутку, было связано не только с тем, что я был еще молод (мне было в то время тридцать два года), а в событиях 1991 года и вправду присутствовала почти театральная завершенность. Реальную картину затуманивал триумфализм американских политиков и мыслителей, провозгласивших «Конец истории», но и это не главная причина. Помимо всего прочего, дело было в недостатке знаний и понимания: мы недооценивали устойчивость привычных представлений и институтов; не понимали истинную глубину бед и страданий, перенесенных народами бывшего Советского Союза; не отдавали себе отчет в том, как трудно будет преодолевать последствия этой травмы и сколько ошибок, неудач и попятных движений ждет Россию на пути — давайте произнесем эти слова — к прекрасному демократическому будущему, которое двадцать лет назад казалось таким возможным. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Гаррисон Солсбери (*Harrison Salisbury*), знаменитый американский журналист, лауреат премий, автор множества книг. Был московским корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в период после окончания Второй мировой войны. Николас Данилофф (*Nicholas Daniloff*), американский журналист, в 1984 году был арестован

в СССР по подозрению в шпионаже и выслан из страны.

² *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. University of California Press, 1995.*

³ Графство Принц-Джордж (*Prince George*) находится поблизости от Вашингтона, в штате Мэриленд.